

В.В. Розанов Два исхода

*По изданию: Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе
Ф.М. Достоевского. Литературные очерки. Том 7. Москва, 1996 г.*

*Впервые опубликовано в газете «Московские Ведомости» № 207, 1891 г., под одно-
именным названием.*

I

Для поколения 80-х и 90-х годов, так непреодолимо разошедшегося со своими "отцами", открываются два пути: или, поняв, как недостаточно просвещение предыдущего поколения, стремиться заменить его просвещением более глубоким и развитым; или, напротив, приняв его за ряд непоколебимых выводов рассудка и, все-таки чувствуя, как выводы эти противоречат всем остальным сторонам человеческой природы, неясным и, однако же, вечным и глубоким, — довериться этим последним и насильственно ограничить свой разум. Этот второй исход, не формулированный и все-таки ясный, невольно чувствуется в том движении, которое примыкает к последним произведениям нашего знаменитого художника, а теперь проповедника новых начал жизни, гр. Л. Н. Толстого¹.

Есть что-то похожее на секту в том кружке людей, который рассеян теперь повсюду в России и главным интересом для которого служит

¹ Первым и очень ярким выражением этого движения нужно считать появление критического этюда покойного Громеки "Последние произведения графа Л. Н. Толстого". Основная идея этого этюда состоит именно в доказательстве *недостаточности рассудочного мировоззрения*, но не в смысле его логической слабости, а по *противоречию другим основным сторонам человеческой природы*. Как это ни странно покажется, но до появления этого разбора смысл "Анны Карениной" для огромных масс читающего общества был не очень ясен, даже просто — *незначителен*; в последнем силлилась и успела убедить многих тогдашняя критика — не яркая, но обильная. Этюд г. Громеки имел огромный успех, им зачитывались в свое время, особенно в подрастающем поколении, и после него именно открылись повсюду толки о смысле, правильности и применимости идей графа Л. Н. Толстого.

проведение в личную свою жизнь идей великого романиста. Много было высказано в последние годы по поводу этих идей; но высказанное было, по преимуществу, или критикой их и опровержением, или, напротив, горячею их защитой. Но среди споров, в разгаре борьбы ни разу не было указано на историческое положение всей этой ветви нашего общественного развития, и также забыта была его исходная точка. Уже почти двадцать лет тому назад впервые разнеслись в обществе неясные слухи о какой-то "исповеди" знаменитого романиста, где он рассказывает историю своих внутренних тревог и исканий и излагает воззрения на человеческую жизнь, которыми заключились эти искания. Вскоре появился, хотя и ненапечатанный, текст самой исповеди, который с жадным любопытством читался всеми. Однако, помимо любопытства, во многих возбуждилось тогда и радостное чувство: человек признанной духовной силы вращался в сфере интересов и вопросов, в которых вращались по разным углам уже очень многие в то время, никогда не решаясь, однако, поднять свою голову и высказать вслух то, что их давно и мучительно занимало. То был знаменитый вопрос о цели человеческой жизни. Даже в печати, *в то время бывшей в совершенном неведении о том, что именно происходит в подрастающем поколении*, чувствовалась инстинктивно грядущая важность этого вопроса, и я помню хоть неумелые, но оживленные толки в ней, поднимавшиеся всякий раз, когда появлялась какая-нибудь книга, посвященная, например, теории или истории утилитаризма.

Собственно у поколения 60—70-х годов было решение этого вопроса, воспринятое извне и по своему смыслу узкое, которое в литературе того времени по обыкновению горячо пропагандировалось, но вовсе не развивалось и вообще не изменялось. Это был ответ, утверждавший, что другой цели, кроме устройства своего счастья, человек на земле не имеет. Из тесных кружков ученых, из библиотек и с университетских диспутов учение это давно спустилось в широкие массы общества, где, при слабости всех других понятий жизни, оно без труда распространялось. Его ясность и простота, его, наконец, аксиоматичность для всякого, кто лишен каких-нибудь мистических воззрений на природу человека и его судьбу, — все это делало учение утилитаризма легко усвоимым и очень твердо держащимся. В нем был только один недостаток: оно было слишком трезво, слишком ясно, и в нем не находилось никакого ответа и удовлетворения многим темным и глубоким сторонам человеческой природы, многим тревогам ее совести. Пока в жизни все было ясно и просто, пока она катилась легко, — для всех было очевидно, что это ученье прекрасно объясняет собою действительность и совершенно достаточно для человека. Но как только в его

совести происходило что-нибудь, как только чувствовалось затруднение в исторических путях — столь же очевидным становилось для всякого, что учение это и не покрывает действительности, и вовсе недостаточно для человека. В радостной и самонадеянной атмосфере 60—70-х годов эта идея нашла себе легкое распространение; но в подрастающем поколении, по очень темным причинам, уже в то время начало бродить нравственное смущение и встревоженность. Оно усвоило от "отцов" своих эту идею, но дало ей впервые внутреннее развитие и подвергло ее анализу. Дело в том, что и в западноевропейских теориях идея эта как-то все аргументировалась только или опровергалась, но не изучалась во всех подробностях своего состава. Без сомнения, это происходило оттого, что она скорее была общим воззрением на жизнь, была более нравственно-политическим учением, нежели формулой жизни, и ее не считали нужным и возможным определять с тою особенною точностью, которая одна допускает раскрытие внутреннего содержания какой-нибудь идеи и ее анализ. Как только дано было этой идее подобное определение, так тотчас обнаружились все ее истинные свойства. Прежде всего, так как под "счастьем" нельзя было разумеать ничего иного, кроме "удовлетворенности", то было ясно, что идея эта вовсе не содержит в себе указания на какие-либо определенные предметы достижения, на реальные цели деятельности, но только освящает равно всякие, какие возникнут в истории. Простая желаемость этих целей, то есть уже сознанная способность их удовлетворить человека (или какой-нибудь ряд его влечений), есть достаточная для них санкция в круге понятий утилитарной теории. Далее, так как подобною целью, очевидно, могло быть только счастье *наибольшее*, то есть сильнее всего желаемое, например, по продолжительности даваемого удовлетворения, то очевидно, что всем, чего в данное время человек менее желал, он мог, ради достижения лучшего, пренебречь или все это забыть. Здесь, в этом выводе, возрождалось знаменитое и всеми оставленное учение об оправдании средств целью: "средства"— это, очевидно, меньшее благо, которым человек вправе пожертвовать для признанного им за большее благо. Заметим, что, не прибегая к понятиям, выходящим из круга утилитарной формулы, нельзя найти *для желаемости* того или иного вида счастья других признаков, кроме количественных, то есть продолжительности и напряженности даваемого удовлетворения. В средние века обыкновенно именно продолжительность была предпочитаема (ради загробной жизни жертвовалась земная; ради продолжительного покоя в будущем предпринимались истребительные войны против сектантов); в новое и более нетерпеливое время, ради минутного наслаждения, часто приносится в жертву счастье целой жизни. И то и

другое, впрочем, завися от свободного выбора человека, безразлично с утилитарной точки зрения. Наконец, так как человек живет не изолированно, но обществом, и именно в массовой среде он принимает все свои решения, — то не личное свое, но счастье *наибольшего числа людей* должен он полагать целью своей личной деятельности. Сюда же примыкает вся правовая, политическая сторона формулы, придающая впервые ей некоторую конкретность: именно, на вопрос "кем же *определяется* это счастье?" — невозможно, оставаясь в кругу утилитарных понятий, ответить иначе, как — "большинством удовлетворяемых", наибольшим количеством тех, которые ожидают и нуждаются в счастье. Идея *suffrage universel*¹, впервые установленная Руссо и теперь овладевающая сознанием всей Европы, уже *implicite*² содержится в этой ветви утилитарной доктрины. С тем вместе, этою ветвью отрицается и подавляется весь мир индивидуальных порывов, идей и чувств. Гений гасится, как только он не вдвигается в узкую трубу, по которой текут всеобщие желания.

Таков был очевидный состав этого учения. Если б оно принято было когда-нибудь человечеством как высший критериум добра и зла, добру глубоко и навсегда пришлось бы преклониться пред злом, потому что, очевидно, сознание высшего добра никогда не было уделом масс, а личность должна была бы подавить в себе это сознание по требованию или простому желанию "темного" большинства. Утилитаризм есть могила индивидуального развития и с ним всякого цвета истории всего, чем из века в век она светит нарождающимся поколениям³. Нравственный смысл борьбы и гибели единичной личности среди не понимающих

¹ всеобщее избирательное право (*фр.*).

² подразумевается (*фр.*).

³ Скажут: раз сохранение личности полезно для масс, то, по самому принципу пользы, она и должна быть сохранена в истории. Да, но под условием, по принципу же пользы, что это будет признано именно массами и что свое признание *они удержат во всякое время*. Пока отношения между массой и личностью находятся в пределах простого противоречия, разногласия, еще не раздраженного спора, естественно ожидать, что личность будет пощажена и масса не нарушит своего, в общем виде выраженного, желания сохранять личность. Но кто же не знает, что в самые жгучие, решительные моменты истории — именно в те, за которыми следует благодетельный поворот ее, масса относится к личности с неистощимой ненавистью, с готовностью всем пожертвовать и видеть только кровь человека, так высоко поднявшего над нею, над ее эгоистическими желаниями и узкими мыслями свою голову? И в такие минуты, в страшные минуты для личности, что удержит массы от того, чтобы "на один этот случай", только для этого ненавистного человека, взять обратно свою решимость? Когда это решение взято, на что обопрется личность, что поднимет она над собой для защиты? какое *свое* право? "Хорошо, после твоей смерти я последую твоим *лучшим* идеям, но пока я тебя съем", — скажет этот новый и чудовищный, тысячеголовый Левиафан. У личности же пред этою чудовищною пастью, пред этими камнями, на нее поднятыми, *внутри собственного сердца* останется лишь одна правда — правда своей обязанности умереть.

ее грубых масс навсегда угас бы, потому что эти массы без борьбы, без сомнений давили бы личность. Таким образом, для счастья самого человечества ему было бы лучше навсегда забыть о том, что оно может, а тем более должно жить только для своего счастья. Здесь, в этом окончательном выводе, сказывается как бы внутренняя преломляемость этой идеи: своею вершиной, своим последним утверждением она подсекает свое же основание. Все это хоть и не было нигде высказано, но было очень твердо создано многими в то время, когда гр. Л. Н. Толстой впервые взволновал общество тем же вопросом. Разница была только в том, что он или вовсе не упоминал, или упоминал небрежно об утилитарной доктрине, которая, между тем, владела еще общим тогда сознанием. Как бы то ни было, но и он, очевидно, понял, что без разрешения этого основного вопроса жизни (об ее цели) происходит как бы *задержка* разрешения всех других ее, очевидно, зависимых и обусловленных вопросов. *Незнание* — было его ответом на этот вопрос; отсюда весь характер иррациональности, который принял его дальнейшее развитие: это отрицание государства, это неведение религиозных начал жизни, эта враждебность против искусства и против науки. Все это содержалось уже, как вторичное, в том жизненном узле, подойдя к которому он молча отошел.

II

А между тем, тайна состояла только в том, чтобы, подойдя к лежащему яблоку, не съесть его, но зарыть в землю и посмотреть, что из этого выйдет. Никем не была в то время понята искусственность самого вопроса о цели человеческой жизни. В ту пору излишнего теоретизма мысли как-то привыкли смотреть на человека со стороны и, смотря так, невольно *придумывали* для него цель. Эта придуманность сказывается во всех нравственно-философских теориях, и оттого-то они никогда не могли стать могучим стимулом исторического развития, но всегда оставались только занятием слишком уединившихся в своем мышлении немногих людей. Цель может быть избрана, может быть придумана, но лишь для того, что само придумано и существует искусственно. Напротив, что ранее нашего идейного к нему отношения уже лежало в природе, то мы можем только познавать и, что касается до целей, — открыть его *назначение*. Таков и человек. Таким образом, неразличение понятий "цель" и "назначение" и смешение областей, где применимо открытие и где изобретение, — было причиной множества и теоретических, и практических заблуждений как того времени, так и следующего. Достаточно было понять это, чтоб однажды и навсегда перестать пытаться изменить

человека и его жизнь сообразно с понятиями "наилучшего", какие мы могли бы для него придумать; и, напротив, тотчас, как уяснилось истинное значение человека, единственно правильным к нему отношением стало — любопытное всматривание в его природу.

В этой природе ясно различимы были две стороны: одна недействительная, не изменяющаяся во времени — это сторона физическая. Очевидно, в ней не могло скрываться его назначение, потому что последнее есть то, что *осуществляется, настает со временем*. И в организации человека, где все уже дано и ничего не ожидается, очевидно, нет никакого отношения к его назначению на земле. Напротив, другая сторона его природы была постоянно деятельна, и в этой деятельности она изменялась, возрастала. Ясно, что если человек мог иметь какое-нибудь назначение, то оно скрывалось именно в этой части его существа. Это была — сфера его духа. И в самом деле, в противоположность физической стороне, где все — уже реальность, и притом находящаяся вне влияния человека, — в области духовной жизни все есть только *возможность*, которая через усилия человека *становится действительностью*. Как организм человек рождается уже со всею полнотой частей своих и отправлениями, к которым в течение жизни своей он ничего не прибавляет; и ничего не прибавлено к ним в течение жизни исторической. Напротив, как духовное существо человек рождается только с задатками всего, что осуществит со временем. В нем нет еще идей, но только способность их образовать; нет глубоких чувств, но только способность их пережить; нет каких-либо желаний, но только способность осуществить всякие желания. Итак, с этой стороны — он весь в возможности и, очевидно, *жизнь его не имеет другого назначения, как чтобы возможное в нем стало действительным*. Зло или добро составляет глубочайшее основание человеческой природы. В каком отношении он находится к окружающему мирозданию и его источнику, наконец, как он должен смотреть на свою историю — все это есть уже вторичное, что мы можем знать о человеке. Главное и первое наше знание о нем есть знание как о некоторой системе скрытых возможностей, раскрытие, обнаружение которых может дать ответ и на все остальные вопросы.

III

Отсюда ясен становится и смысл индивидуальной жизни, и значение истории. Если бы человек как в физической, так и в духовной стороне своей являлся полною реальностью, он, конечно, мог бы по произволу избирать для себя всякие цели, чем угодно наполнять свою жизнь. Но

этой свободы выбора у него нет, и нет также свободы оставаться бездеятельным или досуга заниматься чем-нибудь посторонним и несущественным. Жизнь его ограничена во времени, и этого времени едва достаточно для того, чтобы выполнить все, что принудительно указано ему в сложении его духовной природы. Понять эту природу, ее ограниченность или особые дары, и все принесенное с собой в мир отдать этому миру — этого слишком достаточно, чтобы наполнить личное существование серьезною заботою, исключающей какие-либо помыслы о развлечении. Наконец, раскрыть в тысячелетиях всю глубину и все богатство человеческой души, как она дана не в индивидуальном выражении, но во всеобщем, — это есть долг и право всего человечества; долг, которого мы можем не понимать, не разуместь еще его смысла, но которого не знать мы не можем, потому что он действителен. И не можем, поэтому, его не исполнить. Таким образом, нам не известно только *конкретное выражение*, которое будет иметь то окончательное, чем завершится человечество и что осветит смысл его существования на земле; непредставима форма его и также очень многие, но лишь второстепенные подробности. Общий же вид этого окончательного вполне определим¹ чрез изучение тех направлений, неустойчивых и естественных, которые уж есть, даны в каждом из задатков, образующих своей системой духовную природу человека.

Уже выше было сказано, что все слишком ясное и трезвое не покрывает человеческой природы, как она дана, и не удовлетворяет ее иначе, как только на время. Действительно, чем внимательнее будем мы всматриваться в ее сложение и, особенно, как уже выразилось это сложение в истории (то есть наиболее полно), тем более будем мы удивлены какою-то странною ее неисчерпаемостью и беспросветною глубиною. Разум со своими выкладками составляет лишь часть человеческого существа, и вне его влияния и объяснения остается еще неизмеримая область иных сфер духовного творчества, *но задатки для всех них уже даны в человеке*, и все они, не скажем — истинны: это слишком узко — все они *действительны* и как-то освящены в человеке, потому что предустановлены в нем. Вся природа есть нечто предустан-

¹ По отношению к одной системе человеческой природы — именно умственной — определение окончательной формы, которую завершится её деятельность, сделано мною в книге «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания». М., 1886. При всех ошибках, какие могли быть допущены в отдельных частях этого определения, остается незатронутым, однако, самый принцип — общая *определимость* окончательных форм человеческого творчества, как из неправильности в возведении здания, могущего служить для человека, не следует его общая невозводимость.

новленное, потому что вся она — только задаток, только возможность осуществляемой действительности. Разум, как один из этих задатков, как простая способность образовать идеи, не только не выше остального чего-нибудь в человеческой природе, но, напротив, он и оправдание свое имеет только в том, что *также предустановлен*, как и все прочие задатки — стоит не ниже их. Реальность есть нечто высшее, нежели разумность и истина; потому что сама истина имеет лишь настолько значение, насколько она не мнима, не призрачна, насколько она подходит под признаки реального. Вот почему повелительного, деятельно принуждающего — мало в разуме; его деятельность вся в созерцании, в уразумении. Но созерцаемое происходит и должно происходить нормируемое своими особыми законами, скрытыми в остальных задатках человеческой природы, ничего общего с сознанием не имеющих. Невозможность придуманной поэзии и, до известной степени, объясненной — есть частный случай этой общей истины. Среди этих задатков есть также и нравственные, и религиозные. Конечно, они не проявляются без возбуждения, как и разум не начинает мыслить, пока не дан предмет для мысли. В том и состоит сущность всякого задатка, что он не иначе получает развитие, становится полным существом, как когда присоединяется к нему что-либо внешнее, или в качестве возбуждения, или в качестве материала, подобно тому как материал земли должен присоединиться к семени, чтоб оно стало деревом. Но как никакая земля без семени не образовала бы из себя дерева, так и никакие возбуждения извне человеческой природы не вызвали бы ее к образованию религиозных созерцаний и нравственных идей, если бы эти последние не имели уже в ней для себя задатка. Поэтому, как справедливо, что человек уже рождается разумным существом (хотя он становится разумным только после), так справедливо и то, что он уже рождается нравственным и религиозным — хотя все это приходит также потом. По той причине, по которой ни одному задатку мы не можем дать предпочтения перед другим, — по этой же причине мы и религию или нравственность не можем подчинить деятельному влиянию чего-нибудь, например разума: *они одинаково реальны*. Наконец, так как всякий задаток есть задаток *к чему-нибудь*, и это что-нибудь уже реально в нем настолько, насколько в семени реально дерево со всеми своими формами, с законами и силами своего роста: то, подобно тому как мыслящему разуму есть соответствующий ему мыслимый мир, и нравственному чувству есть отвечающий ему долг, и религиозному созерцанию — созерцаемое им Божество. Все это столь же действительно и не менее ясно, как то, что не могло бы быть мысли, если б ей нечему было отвечать, если б вовсе не было никаких пред-

метов, могущих мыслиться. И, как в мышлении единственный вопрос состоит в том, чтобы мыслить *правильно*; так и в религии и в нравственности нет никакого вопроса о самых предметах их, но только о том, как отнестись к ним правильно.

Отсюда смысл всех нравственных и религиозных тревог: в разуме мы ощущаем живую боль всякий раз, как он затруднен в уразумении чего-нибудь, когда он сбивается, ищет и еще не находит, и, напротив, живое удовлетворение чувствуем всякий раз, когда он входит в норму по отношению к предметам своим. Так же точно и по той же причине мы испытываем нравственное мучение всякий раз, когда не исполнен долг, или религиозную тревогу, когда потеряли или не нашли еще верного отношения к Богу. Во всех этих случаях страдание есть лишь симптом некоторого извращения, которому, по нашей вине или невольно, подвергается в нас один из задатков души. Здесь, пожалуй, теория обязанностей человека совпадает с утилитаризмом; но только из последнего удалено все произвольное и нет более неопределенности желаемого. Действительно: ясная удовлетворенность есть цель человеческой жизни, — но удовлетворенность эта, *нужно знать*, наступает для человека лишь тогда, когда он не одной стороною своей природы не отклонился от исполнения долга, в эту природу заложенного; когда он возрастает по законам души своей, не нарушая этих законов ни под каким влиянием. Удовлетворенность есть здесь следствие — сопровождающий симптом того, что истинные цели достигаются; оно есть боковое нечто, но не впереди лежащее — луч света, который сопровождает человека, пока он идет по определенной тропинке.

IV

Нужно удивляться, как гр. Л. Н. Толстой не понял этого в человеческой природе. И особенно странно это будет для всякого, кто, вчитываясь в художественные произведения его, наблюдал, как всюду, рисуя жизнь человеческую, он оттеняет принудительность всех движений человеческого сердца, его страстей или антипатий и вытекающих отсюда действий. Неопределенности, хаотичности, безбрежного произвола он мудро не нашел в жизни и не изобразил. Все движется у него свободно и, однако, по определенным путям, от которых не уклонится¹.

¹ Например, доканчивая последние страницы второго тома "Анны Карениной", из особенного тона ведущегося диалога, очень тонкого, лишь слегка взволнованного и возбужденного, вдруг ярко и совершенно впервые начинаешь ощущать едва мерцающую вдали еще и уже неизбежную гибель Анны, — почти с ее подробностями, то есть не в ее частной обстановке, но с теми именно чувствами, с которыми она умерла, и по тем самым

Красота жизни, по этим путям движущейся и развивающейся, только по-видимому свободной, но уже данной, заложенной в характерах всех выведенных лиц¹, — это и составляет неисчерпаемый художественный и философский интерес его произведений. И вот так мудро и так глубоко поняв жизнь, он непостижимым образом на самый источник ее — человека, в момент таких страшных для себя тревог и решений, вдруг посмотрел как ребенок. Все непонятно в этом, и, однако, все это так. Сам изливший такое богатство идей, сам невольный и, быть может, иногда бессознательно бравший перо и писавший чудные страницы своих произведений, Бог знает откуда и, однако, нетерпеливо выливавшийся, — этот человек мог подумать и сказать, что другие люди, миллионы подобных ему существ, могут по произволу заставлять себя или точать сапоги, или заниматься философией; что человек есть самодвижущаяся кукла, которая может определить себе: "пойду до этого" или еще: "никогда не сверну направо". Удивительное зрелище пророка, истинного пророка, который подумал бы, что вдохновенные речи говорит чрез него не Бог, но обманщик-жрец, за ним сидящий.

Как только произошла эта ошибка в главном — еще в те старые тревожные дни, которые пережил в своей совести наш знаменитый писатель, — так тотчас все смешалось в хаос в его идеях и требованиях. Все стало ошибочно и, однако, уж непреодолимо — раз отклонились в сторону, при разрешении центрального вопроса, его высокое сердце и благородный ум. Неизбежно стало отрицание всего, что, за отсутствием связи с какою-либо высшею целью, потеряло опору в себе. Все, чторосло на человеке в истории, — представилось ему, —росло фатально и не нужно, без какого-либо определенного смысла и без прочного основания. Все это не выросло из человека, но придумано им как забава для своего пустого ума или для заглохшего сердца. Только без цели все это давит людей, и они должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать перед природой так же легко, как стояли тысячелетия тому назад. Раскутаться вновь от суеверий ума своего, от ошибок чувства; перестать собираться для чего-то в громадные скопища царств и, возвратив себе простоту сердца и кротость ума, — возделывать землю, пока она не сделается могилой. В этом поколение за поколением

побуждениям. Весь третий том романа есть чудно раскрываемая картина медленной агонии человека, усиливающегося и не могущего избежать самоубийства.

¹ И даже в самом рождении: сюда относится в "Войне и мире" удивительный разговор между княжной Марией Болконской, уже ставшей женой и матерью, и Нагашей, также вышедшей замуж за Пьера Безухова, о судьбе Сони, воспитывавшейся в доме Ростовых и очень нравившейся Николаю Ростову, который и ей нравился, *но мужем ее не стал*, — то есть о том, почему это произошло.

состоит труд людей, и на земле они не имеют для себя другой задачи. Случайно попали они на эту землю, быть может, случайно и сойдут с нее, и как в существовании их нет радости, так не будет печали в их гибели.

V

Эти мысли, которые так еще волнуют нас, но в которых уже стали бы задыхаться наши дети, — эти печальные мысли, столь серьезно высказанные, ошибочны в корне своем. Они все текут из одного источника — из признания, высказанного еще в "исповеди": что человек не знает цели своей жизни. За этим незнанием было бы, конечно, безумием для него к чему-нибудь стремиться, чего-нибудь искать, и, насколько искал он в прошлом и что уже нашел — его история, его цивилизация, — все это призрачно, бессодержательно, потому что лишено высшего оправдания, каковое могло бы получить только в сознании своей цели. Но эта цель *есть* — она дана в самом строении нашей духовной природы. Она безусловна, и мы не можем даже обсуждать ее, потому что у нас нет для этого никакого орудия. Самый разум наш, самая мысль, критике которой мы готовы были бы подвергнуть эту цель, — бессильна к этому, потому что она также входит в состав этой цели и, как часть, не может обсуждать целого, которому принадлежит. Мы должны принять свою цель как данное, как священное и нам непонятное. Религиозен весь человек, и вся жизнь его, и также — его цивилизация и история: хотя, конечно, болеть все это и искажаться — может, но, искажаясь, тем самым все это уже указывает на вечную норму, от которой отступает. Здесь — в нашей обязанности понять эту норму — и заключается второй выход для нашего общества. Не подавление природы своей до *minimum'a*, не это насильственное сжатие своей головы и задержание биений своего сердца составляет долг наш на земле — это уродство, это, наконец, преступление: но, напротив, раскрытие своей природы в истории по предустановленным для нее законам и путям. Ни пути эти, ни норма цивилизации, ни, наконец, природа человека, с этой точки зрения своей предустановленности, никогда не создавались человеком. Он был похож на бедное существо, которое, бродя туда и сюда и не зная, куда преклонить голову, забыло о богатом чертоге, который принадлежит ему, для него освящен и создан. Он, правда, уже давно стал язычником и делает все бесстыдное, что можно делать, только зная, что его никто не увидит и что после него ничего не останется. Много злобы в этом, но еще больше грусти. Удивительно: на склоне второго тысячелетия жизни явиться таким жалким, таким несчастным, так позорно

униженным и, наконец, дурным.

И все это — только сон; все — заблуждение тысячелетие грезившей мысли, которая, после светлых мечтаний, на минуту увидела темные призраки. Не в призраках, не в том, что мы *придумываем*, — истина; но в том, что мы созерцаем, что дано *прежде* нашей мысли. Прежде этой мысли дана природа и поняли ли мы ее? Одновременно с этою мыслью дан нам дух, в котором она зародилась, — и что мы в нем увидели? Увидели ли, оценили ли мы все значение этих неуловимых нитей, по которым точно тянется душа наша ко всей природе, стремится все понять в ней, ко всему привязаться, все запомнить и хоть в памяти своей унести в могилу; поистине, ничего мы еще не поняли ни в себе самих, ни в своей жизни; и темно для нас мироздание, на которое мы смотрели, но его не понимали. Как кажется, истинный смысл и значение текущих блужданий заключается именно в том, что они подводят человека к этому сознанию своего религиозного значения. Он в самом деле не язычник; это пустое что он может делать что хочет и что с ним можно делать, что захочется. Есть грани для него, и есть другие, которые над ним. Они все забыты, все переступлены и вот отчего эти неопределенные тревоги совести, которыми мучится современное человечество. В вечных поисках за успехом, в вечном придумывании, чем бы себя осчастливить, человек заблудился, наконец, до того далеко, что никакого счастья ему не нужно, и в страхе рука его не хочет поднять то, что наконец найдено и может быть взято. В этом чувстве отвращения к своей жизни, *как проходила она*, вдруг и неожиданно сказала вечная и благородная его природа. Он припоминает себя — где он и что? и зачем сюда пришел? Все еще не ясно для него, но для всех, кто умеет прислушиваться к темным движениям сердца, к начинающимся уклонам истории, — ясно, что он силится припомнить вечный источник себя, своей жизни и с собою — целой природы. Можно, конечно, ошибаться — но, кажется, мы стоим в истории накануне великих начинаний.

В. Розанов
